

Тень ворона

Автор:

Эллис Питерс

Тень ворона

Эллис Питерс

Хроники брата Кадфаэля #12 Шедевры исторического детектива (Рипол)

В романе «Тень ворона» пронизательный бенедиктинец расследует убийство приходского священника, который безжалостной нетерпимостью настроил против себя всю паству. Может ли брат Кадфаэль остаться в стороне, если подозрение пало на его помощника?

Эллис Питерс

Тень ворона

ELLIS PETERS

The Raven in the Foregate

1986

© Storyside. 2022

© Стреблова И. П., перевод на русский язык, 2022

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

Видите того пожилого монаха
в подоткнутой рясе? Сейчас утро, и брат Кадфаэль
возится в своем садике:
собирает лекарственные травы,
ухаживает за кустами роз.
Вряд ли кому придет в голову,
что перед ним – бывший участник
крестовых походов, повидавший полмира
бравый вояка и покоритель женских сердец.
Однако брату Кадфаэлю приходится зачастую
выступать не только в роли врачевателя
человеческих душ и тел, но и в роли
весьма удачливого, снискавшего славу детектива,
ведь тревоги мирской жизни не обходят стороной
тихую бенедиктинскую обитель.
Не забудем, что действие «Хроник брата Кадфаэля»
происходит в Англии XII века,
где бушует пожар междоусобной войны.
Императрица Матильда и король Стефан
не могут поделить трон, а в подобной неразберихе
преступление – не такая уж редкая вещь.
Так что не станем обманываться
мирной тишиной этого утра.

В любую секунду все может измениться...

Глава первая

В первый день декабря аббат Радульфус явился на собрание капитула хмурый и озабоченный. На сей раз он быстро и решительно разделался с мелкими делами, с которыми пришли к нему монахи. Будучи немногословным, аббат, однако, всегда не перебивая выслушивал пространные разглагольствования самых заядлых говорунов, терпеливо дожидаясь, пока они дойдут до сути, но сегодня, как видно, голова его была занята более важными вещами.

– Должен объявить вам, – вымолвил он, когда с повседневными делами было благополучно покончено, – что я вынужден покинуть монастырь на несколько дней. Я оставляю вас на попечение отца приора. Полагаюсь на то, что до моего возвращения вы будете выказывать ему должное послушание, помогая во всех трудах и заботах. Меня вызывают на совет к легату его святейшества Папы Римского, епископу Винчестерскому Генри Блуа. Я постараюсь вернуться как можно скорее, а вас прошу в мое отсутствие молить Бога о даровании прелатам благомысленной мудрости и духа миролюбия, дабы сие собрание послужило поддержанию мира в стране.

В ровном и бесстрастном голосе аббата слышалась безнадежность. Вот уже четыре года соперники, боровшиеся за английскую корону, не обнаруживали ни малейшего желания примириться – ни король, ни императрица ни разу не проявили сколько-нибудь заметного благомыслия и мудрости. Однако Церковь обязана была, не теряя надежды, вновь и вновь предпринимать попытки примирения невзирая на неутешительный ход событий, вернувший страну в исходное положение, с которого и началась эта междоусобная война, вследствие чего дело грозило вновь пойти по порочному кругу.

– Я вполне сознаю, что оставляю недовершенные дела, которые требуют нашего внимания, – сказал аббат. – Но их придется отложить до моего возвращения. Главное среди них – вопрос о преемнике покойного отца Адама, викария прихода Святого Креста, чью кончину все мы не перестаем оплакивать. Назначение нового священника является прерогативой нашего монастыря. Покойный отец Адам в течение многих лет плодотворно трудился на ниве богослужения и

духовного попечительства. Подыскать ему достойную замену – нелегкая задача, требующая долгих молитв и размышлений. До моего возвращения отец приор будет совершать все церковные службы по своему усмотрению, и всем вам надлежит подчиняться ему.

Окинув собравшихся долгим печальным взором и убедившись в их молчаливом согласии, аббат Радульфус встал со своего места.

– Собрание капитула окончено, – объявил он.

– Хорошо, что он отправится в путь завтра, погода обещает быть ясной, – заметил Хью Берингар, выглядывая в сад через распахнутую дверь сарайчика Кадфаэля, где они сидели вдвоем.

В саду еще зеленела трава и отважно распускались последние розы на длинных, как хворостины, стеблях. Декабрь нынче, в 1141 году от Рождества Христова, пришел втихомолку, осторожной, вкрадчивой поступью, с ласковым ветерком, который едва замутил небо тонкой пеленой облаков.

– Совсем как те перебежчики, что сперва дружно встали на сторону императрицы, когда та была на вершине власти и славы, – сказал Хью с усмешкой, – а теперь, когда ветер переменился, схоронились по своим углам, чтобы перевести дух и не попадаться на глаза.

– Можно только посочувствовать его преподобию, – сказал Кадфаэль. – Папский легат не может затаиться в углу как мышь, его поступки всегда на виду. Его переход на другую сторону произойдет у всех на глазах. А дважды за год делать столь крутые повороты – это для любого человека, пожалуй, чересчур.

– Но ведь все это совершается именем Святой Церкви, Кадфаэль. Именем Церкви! По-человечески он тут как бы ни при чем. Не человек, но представитель Папы и Церкви совершает поворот, а Церковь и Папа Римский, как известно, ошибаться не могут.

Генри Блуа и впрямь вторично в этом году созывал епископов и аббатов на легатский совет. Первый совет состоялся седьмого апреля в Винчестере. Тогда

легат доказывал необходимость поддержать императрицу Матильду, которая в ту пору была на вершине власти, тогда как ее соперник, король Стефан, находился у нее в плену, заточенный в Бристольском замке. Теперь же, седьмого декабря, легату предстояло оправдывать в Вестминстере свой переход на сторону короля Стефана, находившегося уже на свободе, тогда как граждане Лондона положили конец притязаниям Матильды на корону, не дав ей обосноваться в столице.

– Как только у него голова не закружится! – невольно восхитившись легатом, заметил Кадфаэль и покачал головой, макушку которой украшала загорелая тонзура. – Который же это по счету поворот? Сперва присягнул Матильде после того, как ее отец скончался, не оставив мужского потомства, затем признал своего брата Стефана, который в ее отсутствие захватил власть, потом, когда звезда Стефана затмилась, он худо-бедно помирился с императрицей, оправдывая свой поступок тем, что Стефан-де учинил обиду и поношение Святой Церкви... Теперь легату остается лишь обернуть то же самое обвинение против императрицы, если только он не припас для короля другого объяснения.

– Да что тут скажешь нового? – пожал плечами Хью. – Он будет всячески напирать на свой легатский долг и примется талдычить то же самое, что мы уже слышали от него не далее как в апреле! Стефана его слова убедят не более, чем в свое время Матильду, но король только поворчит, а потом сделает вид, будто поверил, – ведь ему, как в свое время Матильде, позарез нужна поддержка Генри Блуа. Ну а епископ прикусит язык и, проглотив обиду, сделает перед клириками вид, что ничего особенного не происходит.

– Скорее всего, для легата этот поворот будет последним, – сказал Кадфаэль, бережно подкладывая в жаровню кусочки дерна, чтобы ее пламя поддерживало в помещении ровное тепло. – Императрица собственными руками погубила свою последнюю надежду получить корону.

Странной женщиной оказалась эта дочь короля Генриха! Еще девочкой выданная замуж за императора Священной Римской империи Генриха V, она завоевала такую горячую любовь своих германских подданных, что после смерти мужа весь народ оплакивал ее отъезд и просил остаться в Германии. Но, вернувшись в Англию, где, казалось бы, сама судьба пошла Матильде навстречу, отдав в ее руки соперника, так что корона была уже совсем близко, она вдруг повела себя столь злобно и самонадеянно, столь злопамятно принялась мстить за былые обиды, что народ столицы возмутился и поднял свой голос. Нет, он не

умолял ее остаться, но навсегда изгнал из города, положив тем самым конец ее надеждам на корону. Все уже знали, что императрица способна яростно преследовать даже своих недавних союзников, но она сумела также завоевать любовь и пылкую преданность лучших из числа своих баронов. В рядах сторонников Стефана не было никого, кто мог бы сравниться достоинством с ее сводным братом графом Робертом Глостерским и ее верным сподвижником Брианом Фицкаунтом, который был ее любовником и, как верный паладин, защищал восточную границу ее владений, где находился его родовой замок Уоллингфорд. Однако в сложившихся обстоятельствах двух героев было мало, чтобы отстаивать права Матильды на английскую корону. Желая выкупить из плена сводного брата, без которого императрица не могла рассчитывать на успех, она была вынуждена освободить своего царственного узника. Таким образом, все вернулось на круги своя. Ибо, упустив победу, императрица не желала смириться с поражением.

– В теперешние мои годы, – задумчиво проговорил Кадфаэль, – все это представляется отсюда таким далеким и ненастоящим! Если бы я не прожил сорок лет в миру, где мне самому довелось участвовать в сражениях, то все, что творится в нынешние времена, показалось бы мне, наверное, каким-то дурным сном.

– Зато для аббата Радульфуса это вовсе не сон, – неожиданно серьезно заметил Хью.

Повернувшись спиной к сырому затихшему саду, медленно погружавшемуся в зимний сон, он сел на деревянную лавку у стены. Тлевший под слоем дерна тусклый огонек жаровни озарил тонкие черты его лица: из полумрака проступили твердо очерченный подбородок и глубокие глазницы, отблеск пламени мгновенно вспыхнул в черноте его глаз, прежде чем погаснуть под бахромою смоляных ресниц.

– В аббате Радульфусе король нашел бы, пожалуй, лучшего советчика, нежели те прихлебатели, что окружили его, едва он вышел на свободу, – продолжал Хью. – Но Радульфус сказал бы не то, что им хочется слышать, и они заткнули бы уши.

– А что нового слышно о короле? Каким он стал, проведя целый год в плену? Сохранился ли у него былой задор, или неволя его остудила? Как думаешь, что он предпримет в ближайшем будущем?

– На эти вопросы я лучше смогу ответить после Рождества, – сказал Хью. – Говорят, король здоров и полон сил. Но императрица держала его в оковах, а такое нелегко забывается. Этого, пожалуй, даже он ей никогда не простит. Стефан вышел на волю голодный и тощий, а на пустой желудок мысль работает живее. По натуре король всегда был горяч и сгоряча легко начинал кампанию или осаду, но, если на третий день не видно было результата, он уже остывал, а на пятый все бросал и пускался в новое предприятие. Может быть, теперь он научился наконец доводить дело до конца, не отклоняясь от цели. Иной раз я сам дивлюсь, что нас удерживает на его стороне, но когда вспоминаю, как он, бывало, кидался в гущу рукопашного боя, то понимаю причину. Подумать только! Ведь эта женщина была у него в руках, когда высадилась в Арунделле, а он, вместо того чтобы поступить так, как подсказывает здравый смысл, дал ей вооруженную охрану, которая проводила ее в замок брата. Я проклинаяю его за такую глупость, но, проклиная, восхищаюсь и люблю его за это! Бог знает, что он еще выкинет по своему беспредельному рыцарскому благородству! Но я рад, что снова его увижу, и постараюсь понять его намерения. Ибо и меня, как вашего аббата, вызвали на совет. Король Стефан собирается провести рождественские праздники в Кентербери и там вновь увенчать себя короной, желая наглядно всем показать, который из двоих претендентов – истинный помазанник Божий. По этому случаю он созвал всех своих шерифов, чтобы они присутствовали на торжестве и дали ему отчет о том, как обстоят дела в графствах. Я тоже должен туда ехать, поскольку пока что шериф у нас не назначен.

Обратив взгляд на Кадфаэля, который внимательно слушал его с задумчивым выражением, Хью невесело усмехнулся и продолжал:

– Шаг очень разумный. Королю нужно знать, насколько он может рассчитывать на преданность своих сторонников после того, как почти год провел в плену. Однако нечего скрывать, что для меня это может кончиться плачевно, – как бы мне не слететь со своего места!

Кадфаэлю такая мысль не приходила в голову, и она его неприятно поразила. Хью по необходимости заступил на должность своего начальника Жильбера Прескота, когда тот, смертельно раненный в битве, погиб от злодейской руки. Случилось это, когда король Стефан был узником Бристольского замка и не мог сам назначить нового шерифа. Тем не менее, не имея необходимых полномочий, Хью верно служил королю как блюститель порядка и законности, и король мог быть доволен его службой. Но кто знает, согласится ли Стефан теперь, когда это

зависит от его решения, утвердить в высокой должности такого молодого и неродовитого человека или воспользуется своей властью, чтобы столь завидным назначением привязать к себе какого-нибудь могущественного барона, владетеля окраинных земель?

– Чепуха! – твердо сказал Кадфаэль. – Стефан творит глупости только в своих личных делах. Ведь он назначил тебя помощником шерифа, когда ты был для него, можно сказать, никем. Тогда ему достаточно было убедиться в твоей храбрости. А что говорит об этом Элин?

При одном звуке этого имени лицо Хью преобразилось: его тонкие, резкие черты смягчились от нахлынувшего нежного чувства. Кадфаэль и сам заулыбался, несмотря на всю свою серьезность.

Хью и Элин познакомились у него на глазах, он знал их еще женихом и невестой, при нем они поженились, и Кадфаэль был крестным отцом их первенца, которому на Рождество должно было исполниться два года. Из нежной белокурой девушки Элин превратилась в цветущую златокудрую молодую женщину. Оба друга обращались к ней за советом и помощью во всех бедах и тревогах, ее спокойная рассудительность всегда служила им поддержкой.

– Элин говорит, что не слишком верит в благодарность коронованных особ, но Стефан вправе сам выбирать себе людей, а уж правильно или неправильно он решит, это его забота.

– А ты?

– Что я! Если он пожалует мне королевскую грамоту и утвердит в должности, я буду охранять от врагов границы его земель. Если нет – вернусь к себе в Мэзбери и там, на севере, буду защищать границу с Честером, коль скоро тамошний граф вздумает расширять свои владения. А уж западные, южные и восточные границы тогда придется оборонять кому-то другому. Тебя же, дружище, я попрошу разок-другой навестить Элин, чтобы она без меня не скучала в одиночестве во время рождественских праздников!

– Стало быть, самая большая милость в нынешнее Рождество выпала мне, – серьезно сказал Кадфаэль. – Ну что ж, я помолюсь за нашего аббата и за тебя, чтобы все ваши дела завершились к вашему удовольствию. Моя же радость

заранее обеспечена.

Похороны старого священника отца Адама, семнадцать лет исполнявшего должность настоятеля прихода Святого Креста в Форгейте, состоялись за неделю до того, как аббат Радульфус был вызван папским легатом на совет в Вестминстер. Право назначения нового священника принадлежало аббатству, и монастырская церковь Святых Петра и Павла одновременно служила приходской церковью для жителей Форгейта, которым для богослужения предоставлялся главный неф. За последнее время Форгейт так вырос, что его жители почитали свое предместье наравне с городом. Форгейтский староста, колесник Эрвальд, именовал себя провостом, а город, аббатство и церковь потрафляли этому безобидному хвастовству, поскольку Монкс-Форгейт – так звучало полное название этого предместья – был в сущности спокойной деревенькой с законопослушными жителями и никогда не доставлял больших хлопот законной городской власти. Редкие склоки между мирянами и аббатством или короткие стычки между задиристыми парнями из Форгейта и Шрусбери не стоили того, чтобы вспоминать о них на другой день.

Отец Адам так долго священствовал в Форгейте, что вся местная молодежь выросла под его отеческим присмотром, а старики относились к нему по-свойски, и его сан давно перестал быть преградой между ним и паствой. Старик жил один в маленьком домике, расположенном в узком переулке неподалеку от церкви; с домашними делами он управлялся без посторонней помощи и держал только одного работника, который возделывал его поля и огородик, находившиеся за чертою предместья, ибо приход Святого Креста занимал обширное пространство, выходявшее далеко за пределы главной улицы Форгейта. Соответственно тому и паства была многочисленна и разнообразна: в нее входили как ремесленники и торговцы, так и крестьянское население – хозяева окрестных хуторов и безземельные издольщики. Весь этот народ был очень озабочен тем, какого священника они получат взамен умершего отца Адама. Ну да уж, даст Бог, старый пастырь – царствие ему небесное! – приглядит за этим с того света и позаботится о своих подопечных!

На похоронах служил сам аббат Радульфус, а убеленный серебристыми сединами приор Роберт, как всегда величавый и полный аристократического достоинства, произнес надгробное слово, исполненное прочувствованной скорби, и разве что слегка приправил похвалу покойному некоторой долей снисходительности, ибо отец Адам был родом из простых, без особых

притязаний и едва знал грамоту. Однако самую лучшую эпитафию отец Адам получил из уст церковного причетника Синрика, находившегося при нем почти все эти годы, а произнесены эти слова были в присутствии одного лишь брата Кадфаэля. Синрик снимал нагар со свечей, а Кадфаэль, проходя мимо алтаря для мирян, остановился, чтобы высказать сочувствие этому человеку, которого, как он знал, более всех огорчила смерть старого священника.

– Печальный и добрый человек, – произнес Синрик обычным своим сиповатым, ворчливым голосом, не сводя прищуренных глаз со свечи, с которой снимал нагар. – Усталый человек, имевший в сердце жалость к нам, грешным.

Не часто можно было услышать от Синрика хотя бы десяток слов кряду, за исключением тех случаев, когда он во время богослужения произносил заученные наизусть фразы. Поэтому слова причетника, сказанные от себя, производили в его устах впечатление пророческого речения: печальный человек – потому что семнадцать лет подряд он исповедовал верующих и терпеливо отпускал им бесчисленные прегрешения; усталый – потому что без конца утешать, укорять и прощать людей так трудно, что к шестидесяти годам немудрено изнеможеть, в особенности для человека незлобивого и кроткого; добрый – потому что он как-то умудрился сохранить в душе сострадание и надежду, постоянно сталкиваясь с пучиной человеческой немощи. И то сказать, Синрик знал отца Адама лучше, чем кто-либо другой! За годы служения он перенял от своего наставника некоторые душевные качества, хотя и не имел его духовной власти.

– Тебе будет его не хватать, – сказал Кадфаэль. – Как и нам.

– Он останется неподалеку, – отозвался Синрик, зашипнув двумя пальцами чадающий фитиль.

Синрику было лет пятьдесят с лишним, – сколько именно, никто не мог сказать, потому что сам причетник не знал года своего рождения, хотя точно помнил день и месяц.

Чернявый и черноглазый, с желто-смуглой кожей, Синрик ходил всегда в долгополом подряснике с обтрепанными от многолетней носки краями, жилищем ему служила крошечная каморка над ризницей в северном притворе, где отец Адам облачался и хранил церковную утварь. Синрик был человеком

замкнутым и угрюмым, из той выносливой породы долговязых и сухопарых людей с крепкой костью, чья худоба объясняется не одной только бедностью, но отшельнической забывчивостью ко всему, что относится к телесным потребностям. Родом он был из семьи вольных крестьян, где-то в северном конце города жил его брат, пожилой и семейный, уже вырастивший своих детей. Изредка, по большим праздникам или по случаю семейного торжества, Синрик навещал своих родственников, но вся его жизнь протекала в церкви да в отведенной ему камерке наверху. Такой молчаливый человек с изможденным и хмурым лицом, казалось бы, должен был всем внушать невольный страх, но Синрика люди не сторонились, ибо его суровость и молчание никого не обманывали: все, даже озорники мальчишки из Форгейта, знали, что на самом деле скрывается за его внешностью, поэтому она никого не отпугивала. Люди знали, что молчун Синрик – добрый старик. Все шли к нему со своими бедами, уверенные, что он, как и отец Адам, никому не откажет в помощи.

Некоторые, правда, тяготились молчаливостью Синрика и не могли подолгу переносить его общество, зато с ним дружили самые бесхитростные и невинные существа: детишки и собаки любили посидеть с ним летним вечером на ступенях северного крыльца, они прекрасно обходились без его разговоров; ребяташки болтали, ему оставалось только слушать, и это нисколько не мешало их дружбе. Матери были довольны, видя своих отпрысков в такой почтенной компании, и многие из них удивлялись, отчего Синрик не женился и не завел детей, раз так любит с ними возиться. Должность причетника не могла быть помехой для женитьбы. В Шропшире по многим приходам еще можно было встретить женатых священников, и никто не видел в этом ничего худого. Новые порядки, запрещавшие клирикам вступать в брак, еще не прижились как следует в Англии, и никто, включая даже епископов, не смотрел косо на тех, кто продолжал жить по старинке. Одно дело монахи – те выбрали свой путь, но белое духовенство по-прежнему могло жить по-мирскому, и это никому не ставилось в вину.

– У него, кажется, не было родственников? – спросил Кадфаэль, зная, что Синрик, как никто другой, был осведомлен об обстоятельствах отца Адама.

– Никого.

– Когда я прибыл сюда из Вудстока с аббатом Херибертом, – сказал Кадфаэль, – отец Адам только что заступил здесь в свою должность. Да и сам Хериберт был в ту пору еще только приором при аббате Годсфриде. А ты, помнится, появился

здесь через год после меня. Да ты и моложе меня. Мы столько тут прожили, что могли бы, пожалуй, составить анналы здешней церковной истории. Это был бы достойный памятник отцу Адаму. Вот уж кто никогда не пренебрегал своими обязанностями! При нем никто не отпал, никто не был забыт. Были у него среди прихожан такие, что снова и снова грешили, но, к чести отца Адама, они всегда возвращались к нему на покаяние. Они не могли без него обойтись. А он никогда не выпускал из рук ниточку, которая держала их и притягивала назад, куда бы они ни забредали в своих блужданиях.

– Так и есть, – признал Синрик, сощипнув пальцами сгоревший фитиль с последней свечи, затем он поправил покривившиеся свечи на приходском алтаре и, отступив на шаг, оглядел их ровные ряды сощуренными глазами.

Из горла Синрика вдруг вырвался сиплый звук, точно со скрипом отворились ржавые ворота, и причетник нехотя выдавил из себя еще несколько слов:

– У вас там уже решили, кого поставить на его место?

– Нет еще, – ответил Кадфаэль. – Иначе отец аббат сказал бы тебе. Завтра он срочно едет в Вестминстер на легатский совет, и новое назначение откладывается до его возвращения, но аббат обещал нам не задерживаться. Он знает, что время не ждет. Покуда отец аббат в отъезде, у вас будет служить брат Жером. Не сомневайся, аббат Радульфус всей душой печется о делах прихода!

Синрик кивнул в знак согласия, ибо и сам знал, какие хорошие отношения были между аббатством и приходом на протяжении всего времени, что здесь священствовал отец Адам. За эти годы сменилось три аббата, но тут все складывалось иначе, чем в других монастырских церквях, в которых совершались службы для мирян. В других монастырях частенько возникали трения из-за того, что монахи не хотели делиться местом с мирянами и не желали допускать их в свои здания, а белое духовенство поднимало шум, когда его хотели вытеснить. Не то было здесь! Наверное, так сложилось благодаря кротости отца Адама, и львиная доля заслуги принадлежала именно ему, так как с ним всегда можно было любовно договориться.

– Он любил иной раз угоститься винцом, – задумчиво произнес Кадфаэль. – У меня еще осталась настойка, которая ему особенно нравилась, она сделана на

травах и полезна для головы и для крови. Приходи вечером ко мне в сад, Синрик, и мы с тобой помянем отца Адама.

– Приду, – сказал Синрик и даже позволил себе слегка улыбнуться, что бывало нечасто, но эта добродушная улыбка привлекала к нему детей и собак, которые по ней распознавали его истинную суть.

Бок о бок они прошли по холодным плитам главного нефа, и Синрик, выйдя через северный притвор, двинулся вверх в свою темную каморку. Кадфаэль провожал его взглядом, пока за ним не закрылась дверь. Столько лет они прожили рядом, в мире и согласии, но никогда близко не общались. Да и кто мог похвалиться близкой дружбой с Синриком? С тех пор как он выпорхнул из-под матушкиного крылышка и оставил родной дом, он, кажется, ни с кем не сходил по-настоящему, кроме отца Адама. Когда сближаются два одиноких человека, их связывает такая особенная задушевная дружба, что они составляют одно целое. Многие, наверное, оплакивают сейчас смерть отца Адама, но самую тяжкую утрату понес с его кончиной Синрик.

С наступлением декабря впервые в эту зиму монахи растопили очаг в теплой комнате. В те полчаса между ужином и повечерием, когда братии позволено было поболтать, только и разговоров было что о замещении должности приходского священника, даже поездка аббата Радульфуса на легатский совет отошла на задний план. Приор Роберт на время отсутствия аббата переселился в его покои, и охочие до пересудов братья еще больше развязали бы языки, если бы не брат Жером – неотлучная тень приора Роберта, который счел себя обязанным замещать приора. Субприор брат Ричард по крайнему своему благодушию, если не сказать лени, не стал связываться с ним и не отстаивал своего старшинства.

Тщедушный брат Жером был ревностным монахом, однако многие находили, что ревность его к служению весьма однобока и что Жерому недостает млека человеческой терпимости, каковою, по мнению самого Жерома, отец Адам излишне грешил.

– Отец Адам был, конечно, добродетельным человеком, – сказал Жером. – Чего-чего, а этого у него не отнимешь! Все мы знаем, что он ревностно трудился на Божьей ниве. Но он слишком мягко относился к чужим проступкам. Он

попустительствовал прегрешениям, виновники отделялись у него легкой епитимьей и чересчур быстро получали отпущение грехов.

– При отце Адаме в приходе царил порядок и добрососедские отношения, – возразил брат Амброз, раздатчик милостыни, по должности своей постоянно встречавшийся с беднейшими из форгейтских бедняков. – Я знаю, что о нем говорят люди. Уйдя из жизни, он оставил после себя благополучный приход, который не доставит хлопот его преемнику. Прихожане доброжелательно встретят нового священника, потому что привыкли к доброжелательству при отце Адаме.

– Дети всегда рады слабости наставника, который боится наказывать розгой, – поучительно изрек Жером, – а воры хвалят судью, который попустительствует преступникам. Зато когда-нибудь их ждет страшная расплата. Для них было бы лучше, если бы их заставляли платить по счетам сейчас, чтобы в иной жизни их души заслужили прощение.

Брат Павел, наставник послушников и мальчиков из монастырской школы, прибегавший к телесным наказаниям разве что при самых вопиющих проступках, молча улыбнулся на эти слова.

– Излишнее милосердие – это не доброта, – продолжал разглагольствовать Жером, упиваясь собственным красноречием; в эту минуту он очень гордился своим даром проповедника. – Как гласит устав, дитя, совершившее проступок, должно быть наказано розгой. А кто же эти жители Форгейта, как не дети неразумные?

В этот миг раздался звон колокола, призывавший монахов на повечерие, но и без того никто из присутствующих не собирался выступать с возражениями: Жером слыл в монастыре пустозвоном, и никто не обращал на его слова особого внимания. В ближайшие два дня ему предстояло читать прихожанам проповеди, в которых он наверняка обрушит на своих слушателей суровые обличения, да только не много народу соберется его слушать, а у тех, кто придет, его слова будут влетать в одно ухо и вылетать из другого, поскольку всем известно, что он только временно замещает священника.

Как бы там ни было, Кадфаэль, отходя ко сну, был очень задумчив, ему показалось также, что он слышит чье-то перешептывание, но сам он хранил

молчание, соблюдая монастырский устав, который требовал, чтобы слова вечерней молитвы были для монаха последними перед отходом ко сну и чтобы его мысли ничто не отвлекало от богослужения. Кадфаэль ни о чем другом и не думал. Ибо, засыпая, он слышал, как внутренний голос повторяет ему сквозь дрему одно и то же. То были стихи шестого псалма. С этим Кадфаэль и заснул.

«Domine, ne in furore... Господи! Не в ярости твоей обличай меня и не в гневе твоём наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен...»

Глава вторая

В десятый день декабря аббат Радульфус вернулся. Он въехал в ворота, когда уже начинало смеркаться. Вся братия была в церкви, служили вечерню, поэтому никто, кроме привратника, не увидел его пышной свиты, и только наутро, на собрании капитула, братья услышали отчет Радульфуса и узнали то, что касалось аббатства. Однако молчаливый привратник, умевший держать язык за зубами, бывал весьма разговорчив с друзьями. Он лучше всех был осведомлен обо всем, что происходило в монастыре, и брат Кадфаэль, уединившись с ним в скриптории, в тот же вечер услышал от него кое-какие новости:

– С ним приехал священник – статный и видный собой мужчина лет тридцати пяти, не больше, как мне показалось. Его устроили в странноприимном доме. Они с аббатом целый день провели в седле, чтобы поспеть домой засветло. Отец аббат мне ничего не рассказывал, только велел передать брату Дэнису, что один из гостей заночует у него. Кроме священника, с ним приехали еще двое, и аббат поручает их брату Дэнису. А привез он с собой женщину, особу уже немолодую и, по всему виду, порядочную и скромную. Наверное, она приходится этому священнику теткой либо служит у него домоправительницей. Мне велели позвать с конюшни кого-нибудь из работников, чтобы тот проводил ее в домик отца Адама. Я так и сделал. А с женщиной был еще парнишка, наверное слуга, который делает у них черную работу и служит на посылках. Похоже, что женщина – вдова, а парнишка – ее сын и они вместе служат в доме этого священника. Вот ведь – уехал вдвоем с братом Виталисом, а вернулись впятером, причем на троих гостей – две лошади, женщина сидела позади молодого парня. Ну, что ты об этом скажешь?

– Что же тут скажешь, кроме одного? – ответил Кадфаэль, прикинув в уме, что к чему. – Его милость милорд аббат привез из южных областей нового священника для прихода Святого Креста вместе с домочадцами. Хозяина пригласили заночевать в нашем странноприимном доме, а слуги отправились в пустующий дом, чтобы прибраться, протопить очаг, припасти съестного и вообще навести уют к приходу хозяина. Завтра на собрании капитула мы, наверное, услышим от аббата, откуда взялся новый священник и кто из собравшихся епископов рекомендовал его на этот приход.

– Вот и я так подумал, – согласился привратник. – Хотя, как мне кажется, прихожане были бы рады, если бы на место отца Адама приняли кого-нибудь из здешних. Впрочем, главное ведь не имя и не происхождение, главное – каков человек. Его милость милорд аббат, уж наверное, знает, как будет лучше.

С этими словами привратник удалился, спеша, вероятно, до повечерия еще с кем-нибудь поделиться по секрету свежей новостью. В итоге наутро добрая половина братии пришла на собрание капитула уже подготовленная к тому, что предстояло услышать. Монахи сгорали от нетерпения, ожидая, когда объявят имя, а затем представят собранию самого кандидата на должность. Едва ли кто из монахов собирался оспаривать решение аббата, однако право распоряжаться бенефицием принадлежало собранию, и Радульфус никогда не позволил бы себе в нарушение устава пренебречь мнением братьев.

– Я очень спешил к вам, стараясь вернуться как можно скорее, – начал Радульфус после того, как было покончено с обычными вопросами, для которых не потребовалось много времени. – По поводу легатского совета могу вкратце сказать, что после обсуждения было принято решение: Церковь вновь целиком и полностью становится на сторону короля Стефана. Король там присутствовал и со своей стороны подтвердил возобновление означенного союза. Его преосвященство епископ Винчестерский передал ему благословение Папы Римского, а противников короля, которые не хотят одуматься и продолжают поддерживать императрицу, объявил врагами Церкви. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку, на мой взгляд, в этом нет никакой необходимости.

«Действительно, никакой! – мысленно согласился Кадфаэль, внимательно слушавший эту речь из укромного уголка, где он всегда садился, чтобы в случае чего незаметно вздремнуть, пока капитул обсуждал что-нибудь скучное. – Нам незачем знать, к каким ухищрениям прибегнул легат и как он изворачивался, чтобы выйти из трудного положения. Хью наверняка расскажет потом все

подробности».

– Гораздо больше касается нашего монастыря одна беседа, которую я имел с епископом Генри Винчестерским. Узнав о том, что наш приход Святого Креста остался без пастыря, он рекомендовал мне священника из своей свиты, который как раз ждет, когда найдется свободный бенефиций. Побеседовав с рекомендованным мне соискателем, я убедился, что он во всех отношениях соответствует предъявляемым требованиям, обладает должной ученостью и достоин продвижения. Он ведет простую и суровую жизнь, а что касается знаний, то я сам его проэкзаменовал.

Ученость кандидата представляла весомый аргумент в его пользу, особенно по сравнению с неученым отцом Адамом, хотя это достоинство больше значило в глазах капитула, чем простых мирян из Форгейта.

– Отцу Эйлноту тридцать шесть лет, – сообщил далее аббат. – Его позднее вступление в должность приходского священника объясняется тем, что он четыре года служил секретарем у епископа Генриха, выказав себя способным и добросовестным человеком, поэтому епископ пожелал вознаградить его за усердие, пристроив на должность приходского священника. Что касается моего мнения, то я нахожу его подходящим и достойным кандидатом. И если вы, братья, не имеете возражений, я хочу пригласить его сейчас сюда, чтобы он сам рассказал о себе капитулу и ответил на ваши вопросы.

Все зашевелились, по рядам пробежал нетерпеливый шумок; едва сдерживая любопытство, монахи закивали. Удостоверившись в общем согласии, приор Роберт по знаку аббата поднялся с места и пошел за соискателем.

«Эйлнот? – подумал Кадфаэль. – Судя по имени – саксонец, и, как говорят, рослый и пригожий собой. Что же! Все лучше, чем какой-нибудь нормандец, отиравшийся в прихлебателях при дворе знатного господина!»

Мысленно Кадфаэль уже представлял себе плечистого румяного детину с обветренным лицом и копной белокурых волос, но этот портрет был перечеркнут, едва вслед за приором Робертом в зал вошел отец Эйлнот и, выступив на середину, откуда он был хорошо виден присутствующим, стал перед ними в спокойной и непринужденной позе. Священник и впрямь оказался на редкость хорош собой – высокий, широкоплечий, мускулистый мужчина,

быстрый и ловкий в движениях, он стоял перед капитулом прямо и неподвижно, как статуя. Однако он не имел ничего общего с белобрысым саксонцем, напротив, он был до такой степени черноволос и черноглаз, что даже Хью Берингар показался бы рядом с ним не очень чернявым. У отца Эйлнота было продолговатое, породистое, гладко выбритое лицо, на щеках сквозь оливковую смуглоту проступал румянец. Густые черные волосы вокруг тонзуры были так ровно подстрижены, что казались нарисованными. Он почтительно поклонился аббату и, сложив перед собой ладонь к ладони крупные сильные руки, приготовился отвечать на вопросы.

– Итак, я представляю почтенному собранию отца Эйлнота, – промолвил Радульфус, – которого желал бы видеть избранным на должность священника прихода Святого Креста. Спрашивайте по поводу его замыслов, заслуг и прежней службы, и он без смущения ответит на все ваши вопросы.

Отец Эйлнот и не думал смущаться. Выслушав краткое приветственное слово приора Роберта, которому он, очевидно, понравился с первого взгляда, новичок принялся отвечать на вопросы ясно и спокойно; это была речь человека, которому не ведомо никакое сомнение и который не привык понапрасну терять время. Его голос, оказавшийся неожиданно тонким для человека с такой могучей грудной клеткой, звучал твердо и уверенно; Эйлнот без стеснения рассказал все о себе, заявил, что намерен деятельно и ревностно посвятить себя своим новым обязанностям, и, закончив, остался ожидать решения капитула с таким невозмутимым выражением, точно нисколько не сомневался в благоприятном вердикте. Отец Эйлнот отлично владел латынью, немного знал по-гречески и был опытным счетоводом. Последнее означало, что все церковное хозяйство попадет в надежные руки, поэтому можно было заранее сказать, что его назначение будет принято капитулом.

– С твоего позволения, отец аббат, – проговорил Эйлнот, – я хотел бы высказать одну просьбу. Я буду очень благодарен, если у вас найдется работа для молодого человека, который приехал вместе со мной. Он – племянник и единственный родственник моей домоправительницы вдовы Хэммет, она очень просила меня взять юношу с собой, чтобы найти ему здесь работу. У него нет ни земли, ни состояния. Ты сам мог убедиться, что он здоровый и крепкий юноша, который не испугается тяжелой работы. Во время пути он охотно выполнял все поручения и ни от чего не отказывался. Мне кажется, что у него есть склонность к монашеству, хотя решения он еще не принял. И, взяв его в работники, вы помогли бы ему сделать окончательный выбор.

– Ах да! Этот юноша, Бенет! – сказал аббат. – Согласен, он и мне показался славным малым. Ему, конечно, найдется здесь дело. На хозяйственном дворе и в саду работы хватает.

– Ты прав, отец аббат! – горячо вмешался в разговор Кадфаэль. – Мне бы очень пригодилась сейчас пара молодых рук. У меня в саду много невскопанных грядок, часть из которых только что освободилась, и теперь нужно успеть привести их в порядок до зимних холодов. А еще надо будет обрезать деревья – тоже тяжелая работа. Зима уже на носу, дни стали короткими, а брат Освин ушел от нас, чтобы трудиться в приюте Святого Жилия. Хороший помощник был бы мне очень кстати. Я как раз собирался просить, чтобы мне дали в помощь кого-нибудь из наших братьев, как всегда делалось в это время года, – летом-то я и сам могу управиться, а сейчас нет.

– Верно! И в Гайе еще не покончено с пахотой, а к Рождеству начнут ягниться овцы, да и потом работы будет вдоволь. Так что присылай к нам твоего юношу! Если со временем он подыщет себе другое, более выгодное место, мы отпустим его с нашим благословением. А до тех пор пускай потрудится у нас, это пойдет ему только на пользу.

– Я так ему и скажу, – отозвался Эйлнот. – Он будет вам так же благодарен, как и я. Тетушке очень не хотелось уезжать без него. Этот юноша – единственный близкий ей человек, кроме него, у нее нет никого, кто бы поддержал ее в старости. Прислать ли его прямо сегодня?

– Да, пришли! И скажи, чтобы он спросил у привратника, как найти брата Кадфаэля. А теперь оставь нас, отец мой, нам надо посоветоваться, – сказал аббат Радульфус. – Но не уходи из монастыря, подожди здесь, пока отец приор не сообщит тебе о нашем решении.

Эйлнот с достоинством поклонился, отступил, пятясь, на несколько шагов, затем повернулся и бодрым, уверенным шагом вышел из зала капитула, высоко неся гордую красивую голову. От быстрой ходьбы ряса взвилась у него за спиной, словно два крыла. Он вышел в полной уверенности – которую, впрочем, с ним разделяли все оставшиеся, – что место священника в приходе Святого Креста будет за ним.

– Все прошло приблизительно так, как вы, вероятно, предполагали, – сказал Радульфус.

Дело было уже к вечеру, аббат уединился в своих покоях с Хью Берингаром. Они сидели в приемной, уютно расположившись перед горящим очагом, в котором пылали поленья. За эти дни лицо аббата осунулось и стало серым, глубоко посаженные глаза еще больше ввалились. Собеседники давно знали и хорошо изучили друг друга, они без утайки делились сведениями о последних событиях и своими соображениями о намечающихся переменах. Независимо от различия их взглядов оба относились друг к другу с полным доверием. Служа на разных поприщах, они одинаково понимали свой долг и питали друг к другу глубокое уважение.

– Выбор у епископа был невелик, – высказал Хью свое мнение. – Вернее сказать, и вовсе никакого. Что ему оставалось, когда король снова очутился на свободе, а императрица, оттесненная на запад, почти лишилась поддержки в остальных частях Англии? Не хотел бы я сейчас оказаться на его месте! Честно сказать, я тоже не знаю, как бы стал выпутываться из такого положения. Пусть епископа осуждает тот, кто не сомневается в собственной доблести, а я не решусь этого сделать.

– И я тоже. Но что тут ни говори, это было малопривлекательное зрелище. Как-никак, нашлись все-таки люди, которые ни разу не изменили себе, когда удача от них отвернулась. Но легат действительно получил послание Папы и огласил его перед нами на совете. Папа укорял его за то, что он не добивается освобождения короля Стефана, и настоятельно требовал, чтобы он сосредоточил на этом все свои усилия. Стоит ли удивляться, что епископ постарался извлечь всю возможную пользу из этого письма? Вдобавок король и сам явился на совет. Он вошел в зал и по всей форме предъявил обвинение нарушившим присягу вассалам, которые ничего не сделали для вызволения короля из плена и сами едва не стали его убийцами.

– А затем Стефан умолк и спокойно наблюдал, как его братец извивается ужом, чтобы всеми правдами и неправдами отвести от себя упрек, – с улыбкой заключил Хью. – У Стефана есть одно преимущество перед его венценосной соперницей: он умеет вовремя прощать и забывать обиды. Она же ничего не забывает и не прощает.

– Что верно, то верно! Но слушать это было малоприятно. Генри оправдывался тем, что у него тогда не было выбора, и честно признался, что ему не оставалось ничего другого, как смириться с обстоятельствами и признать императрицу. Он сказал, что не мог поступить иначе и выбрал единственно возможный путь, но императрица сама нарушила свои обещания и восстала против себя всех своих подданных, а на него пошла войной. И в заключение он обещал Стефану, что Церковь будет впредь на его стороне, и призвал всех честных и благомыслящих людей служить ему. Епископ утверждал, – печально добавил аббат Радульфус, осторожно подбирая каждое слово, – что ему отчасти принадлежит заслуга в деле освобождения короля Стефана, и объявил об отлучении от Церкви всякого человека, который будет противиться его монаршей воле.

– А императрицу, как я слышал, – добавил Хью сухо, – он именовал в своей речи графиней Анжуйской.

Для императрицы ничего не было противнее этого титула, умалявшего ее высокое происхождение и титул, на который она имела право по своему первому замужеству. Как дочь короля и вдова императора, она считала ниже своего достоинства носить титул, полученный от второго, не слишком любимого ею и не слишком ее любившего супруга, Жоффруа Анжуйского, которого она во всем превосходила, кроме разве что таланта, здравого смысла и государственного ума. Он ничего не смог дать Матильде, кроме сына. А юного Генриха она горячо любила.

– Никто не возвысил голоса против сказанного легатом, – рассеянно прибавил аббат. – За исключением представителя императрицы, но с ним обошлись не лучше, чем в свое время с тем, кто заступался за супругу короля Стефана. Единственное отличие, что на улице его жизнь не подвергалась опасности.

Два легатских совета – апрельский и декабрьский – неизбежно оказались похожи один на другой, как зеркальные отражения, поскольку фортуна, улыбнувшись сначала одной партии, затем отвернулась от нее, обратив благосклонный лик к другой и отняв левой рукой то, что недавно дала правой. И впереди можно было ожидать еще немало подобных поворотов, прежде чем станет виден конец.

– Итак, мы снова вернулись к тому, с чего все начиналось, – сказал аббат. – Претерпев столько невзгод, мы вновь остались ни с чем. Что же собирается

делать король?

– Об этом я надеюсь узнать во время рождественских празднеств, – произнес Хью, вставая. – Ибо подобно вам, отец аббат, меня вызывает на совет мой господин и повелитель. Король Стефан требует, чтобы все шерифы явились к его двору в Кентербери, где он намерен праздновать Рождество, там мы должны дать ему отчет о службе. От нашего графства, за неимением лучшего, ехать предстоит мне. Поживем – увидим, как король воспользуется своей свободой. Говорят, он в добром здравии и настроен весьма решительно, а на что нацелена его решимость – кто знает! Что же касается моего будущего, то об этом я, наверное, очень скоро узнаю.

– Уповаю на его здравомыслие, сын мой, и надеюсь, что он поймет: от добра добра не ищут, – промолвил Радульфус. – Нам здесь удалось сохранить покой и порядок, и в сравнении с другими графствами этой злосчастной страны у нас дела обстоят совсем неплохо. Но боюсь, что бы ни решил король, Англии это не принесет ничего, кроме новых кровавых сражений и бед. И тут мы с вами, сколько бы ни старались, ничего не можем исправить.

– Ну, коли мы с вами не можем отстоять мир в Англии, – изрек Хью, иронически улыбаясь, – то постараемся сделать все, что в наших силах, по крайней мере для Шрусбери.

Пообедав, Кадфаэль вышел из трапезной и через большой двор направился в сад. Пройдя мимо живой изгороди, он обратил внимание на густые кусты букса, которые так разрослись, что ветки торчали во все стороны. Кусты давно требовали стрижки, и с нею надо было поспешить, пока не ударили морозы. Миновав изгородь, Кадфаэль вошел в цветник, где на длинных стеблях, вымахавших в человеческий рост, еще доцветали назло зиме пышущие яркими красками запоздалые розы. За цветником находились, защищенные изгородью, аккуратные грядки травного садика, уже приготовленные к зиме. Из земли торчали только сухие и ломкие стебли мяты, густая поросль тимьяна прижалась к земле, спасая от мороза последние живые листочки, и над всем этим запустением неуловимо витал в воздухе неискоренимый дух пряных летних ароматов. Возможно, это был всего лишь обман чувств, навеянный летними воспоминаниями. Вероятно, запах долетал из раскрытой двери сарайчика, где по карнизам и стропилам развешаны были для сушки пучки целебных трав. Но нет! С грядок тоже веяло слабым дыханием этих полууснувших маленьких Божьих

созданий, – усталые и поникшие, они были готовы к весеннему обновлению и новой бодрой жизни. Каждый стебелек, готовый воспрянуть и возродиться, как феникс, мог служить зримым доказательством вечной жизни.

Здесь, в затишке, было тепло и уютно, – так сказать, обитель в святой обители. Кадфаэль вошел в сарайчик, сел на лавку перед раскрытой дверью, расположился поудобнее и приготовился провести отпущенный монаху получасовой перерыв в покойном, если не сказать сонном, созерцании. Утренние часы дали богатую пищу для размышлений, а Кадфаэлю лучше всего думалось, когда он уединялся в своем маленьком царстве.

«Вот он, значит, каков, этот новый священник прихода Святого Креста! Отчего же это епископ Генри взял на себя труд осчастливить нас одним из своих писарей, да не каким-нибудь первым попавшимся, а тем, которым особенно дорожил? Человеком, который имел от природы или благодаря усердному подражанию воспитал в себе отличительные черты своего господина? Не оттого ли, что двое властных, самоуверенных и гордых людей не могли больше мирно ужиться и Генри обрадовался случаю расстаться с этим слугой? Или, может статься, он поступил так из-за униженности своего положения – ведь ему дважды в течение этого года пришлось взять свои слова обратно, и тем самым он неизбежно уронил себя в глазах всего клира. Не старается ли теперь епископ Генри использовать всякий повод, чтобы ублажить своих епископов и аббатов, выказывая им всяческое участие и проявляя заботу об их нуждах? Быть может, он таким образом умасливает их, чтобы укрепить их пошатнувшуюся преданность. Такое вполне возможно, и епископ, наверное, готов пожертвовать даже очень ценным слугой, чтобы заручиться расположением такой значительной особы, как аббат Радульфус. Однако нет никакого сомнения, – уверенно сказал себе Кадфаэль, подводя итог своим размышлениям, – что аббат ни за что не согласился бы на это назначение, если бы не был убежден, что этот человек подходит для должности священника».

Кадфаэль отдыхал, удобно привалившись к стене и вытянув перед собой обутые в сандалии ноги; сложенные вместе руки он глубоко спрятал в длинных рукавах рясы и застыл с закрытыми глазами, чтобы ничто не мешало ему думать. Он сидел так тихо, что молодой человек, приблизившийся к сарайчику, принял его за спящего.

Полная неподвижность Кадфаэля не раз вводила в подобное заблуждение не знавших его людей. Молодой человек ступал очень тихо, но Кадфаэль услышал

его осторожные шаги. Он сразу понял, что это не свой брат монах и не наемный работник из числа мирян: таких тут было немного, и они редко забредали в его владения. Эти ноги были обуты не в сандалии, а в хорошо разношенные, старые башмаки; их хозяин думал, что ступает бесшумно, и был почти прав, однако Кадфаэль обладал чутким, звериным слухом. Шаги остановились у порога, и на несколько мгновений наступила полная тишина.

«Разглядывает меня, – подумал Кадфаэль. – Ну и ладно! Что он видит, я и сам знаю, не знаю только, как ему понравится этот пожилой монах шестидесяти с лишним лет, еще здоровый и крепкий, если не считать, что спина стала не такой гибкой, как раньше. Ну да так уж оно положено в моем возрасте! Сидит, значит, коренастый монах с простоватым лицом, вокруг его бритой макушки, круглый год открытой и в зной и в холод, топорщатся темные с сильной проседью волосы, которые, кстати говоря, давно пора бы подстричь! Подождем же, покуда он насмотрится. Похоже, торопиться ему некуда».

Кадфаэль открыл глаза.

– С виду я, может быть, и похож на мастифа, – произнес он дружелюбно, – но вот уже много лет, как никого не кусаю. Входи же и не смущайся!

Столь бодрое и неожиданное приветствие, с которым Кадфаэль обратился к своему посетителю, оказало на того обратное действие: вместо того чтобы последовать приглашению, он невольно отпрянул. Теперь гость очутился на свету и его можно было хорошенько рассмотреть. Кадфаэль увидел перед собой молодого паренька не старше двадцати лет; он был хотя и невысок, зато ладно скроен, на нем были довольно помятые облегающие штаны, поношенные кожаные башмаки со стоптанными подметками, немного порыжевший под мышками темно-коричневый кафтан, подпоясанный веревкой с размахрившимися концами, и короткая накидка с капюшоном, который сейчас был отброшен за спину. Из-под кафтана виднелся распущенный ворот грубой холщовой рубахи, из коротковатых рукавов высывались незагоревшие белые запястья. Наружность юноши была воплощением молодой силы и мужественной крепости. Он твердо выдержал изучающий взгляд Кадфаэля и, оправившись от первого испуга, держался так, словно такое разглядывание нисколько его не смущало, а, напротив, лишь прибавляло ему уверенности. Наконец он обратился к Кадфаэлю в самом почтительном тоне, но в глазах у него при этом сверкали веселые искорки, а губы сами собой растягивались в неудержимой улыбке:

– Из привратницкой меня направили сюда. Мне нужно видеть монаха, которого зовут Кадфаэлем.

У юноши оказался приятный басовитый голос, в нем слышалось что-то очень славное, молодое и задорное, хотя сейчас парнишка старался придать ему непривычное для себя смиренное звучание. Кадфаэль продолжал рассматривать своего гостя с возрастающим интересом. Копна выгоревших на солнце каштановых кудрей, красивая голова на точеной шее и лицо, старательно изображающее простодушную застенчивость деревенского увальня, который смущается в присутствии человека старше и выше себя по положению, – лицо с округлым подбородком и юношески пухлыми щеками, однако под округлостью скрывается твердый костяк, кожа гладкая, чисто выбритая, какую и положено иметь юному школяру. А именно этот образ возник бы у любого при взгляде на молодого человека. Бесхитростное, в общем, лицо, если бы не затаенный блеск в больших светло-карих глазах, влажных и переливчатых, словно торфяная вода, текущая над каменистым дном, в которой играют зеленые и коричневые оттенки осеннего дня. С этим веселым блеском паренек ничего не мог поделать. Когда бы он спал, эта ангельская простота еще могла бы показаться убедительной, но не теперь.

– Вот ты его и нашел, – сказал Кадфаэль. – Это мое имя. А ты, как я полагаю, тот самый молодой человек, что приехал со священником и хотел бы на время получить работу.

Кадфаэль неспешно поднялся с лавки. Лица обоих оказались почти на одном уровне. Какие веселые глаза у этого юноши, как блестят и переливаются они в свете зимнего солнца!

– Как, ты сказал, тебе зовут, сын мой?

– Нн... Меня-то? Как зовут?

К удивлению Кадфаэля, юноша сперва запнулся и захлопал длинными русыми ресницами, которые на какое-то мгновение прикрыли его веселые глаза. Казалось, он впервые смутился за время их разговора.

– Бенет! Меня зовут Бенет! Моя тетушка Диота – вдова почтенного человека. Ее покойный муж Джон Хэммет служил у епископа конюхом, и, когда он умер,

епископ Генри пристроил старушку Диоту в домоправительницы к отцу Эйлноту. Вот, значит, как она к нему попала. Тому теперь уже три года, даже больше, так что они привыкли друг к другу. А я напросился ехать с ними. Авось, думаю, и для меня найдется работа поблизости от нее! Я ничему не обучен, но выучусь, если надо.

Сперва запинался, а тут вдруг такое многословие! С яркого полуденного света юноша уже вошел в сарайчик, спрятав в укромной тени свое предательски выразительное лицо.

– Он сказал, что у тебя найдется для меня занятие, – произнес Бенет, смиренно приглушив свой зычный голос. – Скажи, что надо, я все сделаю.

– Правильно! К работе так и следует относиться, – согласился Кадфаэль. – Говорят, ты собираешься жить у нас, по-монастырски. Где же тебя поселили? Вместе с работниками?

– Покамест еще нигде, – ответил юноша немного погромче и позвонче, чем вначале. – Но мне обещали отвести здесь спальное место. Не хочу оставаться в доме священника. Там, я слышал, уже есть работник – здешний парень, который смотрит за садом и огородом, так что мне там делать нечего.

– Зато здесь дела много, – бодро сказал Кадфаэль. – У меня на все просто рук не хватает. То одно, то другое, и я совсем запустил свои грядки. Уж я боялся, что не успею вскопать их до морозов. А еще у меня тут есть пяток плодовых деревьев, которые надо подрезать до Рождества. Да и брат Бернар наверняка с радостью возьмет тебя на пахоту в Гайе, где у нас большие сады. Ты, конечно, еще не знаком с нашей местностью, но скоро разберешься, что где находится. А я прослежу, чтобы тебя отсюда не забрали, пока ты не управишься у меня. Давай-ка пойдем, я сразу и покажу все, что тебе предстоит сделать у меня в саду.

Бенет тем временем с любопытством обводил взглядом внушительные ряды склянок, бутылей и глиняных горшочков, которыми были уставлены полки по стенам сарайчика, и свисавшие с потолка пучки разных трав, которые шевелились и шуршали от ветерка, залетавшего через раскрытую дверь, а также большой жбан, в котором побулькивало вино, деревянные мисочки с целебными кореньями и горку белых пилюлек, разложенных для просушки на мраморной доске. Юноша ничего не сказал, но его вытаращенные глаза и

раскрытый рот были красноречивее всяких слов. Кадфаэль почти ожидал, что Бенет сейчас осенит себя крестом при виде таких страстей, но тот вовремя удержался.

«Молодец! – одобрил его про себя Кадфаэль, с интересом наблюдавший за этим забавным зрелищем. – Хорошо, что не переборщил, а то бы я тебе не поверил!»

– Этому ты тоже сможешь выучиться, если хорошенько постараться, – промолвил он спокойно. – Но только если потратишь на учение несколько лет. Это всего лишь лекарства. Все, что в них входит, создано Богом, и никакого волшебства! Но сейчас давай начнем с самого необходимого! Нужно вскопать примерно акр огородных грядок, а затем перевезти на тачке запас перепревшего навоза и разбросать его под деревьями и розовыми кустами. И чем раньше мы примемся за дело, тем скорее оно будет сделано. Пойдем, я тебе покажу!

Юноша послушно пошел за Кадфаэлем. В его живых веселых глазах светился неподдельный интерес. С двух гороховых полей, расположенных на склоне между прудами и речкой Меол, которая с запада отделяла монастырскую усадьбу, урожай был давно убран, плети использованы на подстилку для скотины, а земля была перепахана, но осталась еще тяжелая и грязная работа: надо было забрать со скотного двора и разбросать в поле перепревший навоз. Во фруктовом саду следовало подрезать ветки, трава, еще продолжавшая зеленеть благодаря мягкой погоде, была ошипана двумя годовалыми ярочками, которые паслись под деревьями. Цветочные клумбы имели по-осеннему растрепанный вид, но и их полагалось еще раз прополоть до снега, пока холода не убили последнюю поросль. На огороде, с которого давно собрали урожай, остались одни сорняки, грядки были потоптаны, земля так и просилась, чтобы ее перекопали на зиму, – тут предстояло немало поработать. Но Бенета, казалось, это не пугало.

– Есть где развернуться, – сказал он, без малейшего уныния оглядывая поле предстоящей деятельности. – Где взять лопату?

Кадфаэль показал ему низенькую будку, где хранились его нехитрые орудия, и с интересом отметил, что у молодого человека сначала глаза разбежались и он немного растерялся, но быстро остановил взгляд на деревянном заступе с железным наконечником как самом подходящем орудии для порученного дела. Смерив взглядом участок, Бенет тут же принялся за работу, весьма энергично,

хотя и не очень умело.

– Погоди-ка! – остановил его Кадфаэль, заметив, какие тонкие, изношенные подметки у его башмаков. – Если так налегать, то с твоими башмаками скоро собьешь ногу. У меня в сарайчике есть деревянные чоботы. Подвяжи их к подошвам, тогда можешь спокойно давить изо всей силы. Только не надо уж так спешить, а то упреешь, не успев вскопать и дюжину рядов. Постарайся работать равномерно. Если двигаться ритмично, можно играючи проработать хоть целый день. Лучше всего, если ты будешь петь, а если не хватает дыхания, то мурлыкать себе под нос. Вот увидишь, как быстро пойдет работа! – Но тут Кадфаэль вовремя спохватился, что слишком увлекся и чуть не выдал то, что вынес из своих наблюдений. – Мне говорили, что ты больше привык ходить за лошадьми, – прибавил он как бы невзначай. – Всякая работа требует особой сноровки.

С этими словами Кадфаэль, не дожидаясь, пока Бенет вспылит в ответ на его замечание, повернулся и пошел за чоботами, которые сам вырезал из дерева, чтобы защищать ноги при работе с заступом и ходить по грязи.

Обутый как надо и наученный уму-разуму, Бенет уже иначе, с толком взялся за работу. Понаблюдав немного за его размеренными движениями и убедившись, что дело пошло на лад, Кадфаэль отправился в сарайчик, где его ожидало привычное занятие – толочь в ступке и растирать в порошок сушеные травы, чтобы затем приготовить из них мазь собственного изобретения, которой он лечил у монахов цыпки. В январе, как всегда, от этой напасти начнут мучиться переписчики и художники, работающие в скриптории. А потом, конечно, пойдут простуды и кашель, так что сейчас самое время заготавливать снадобья, чтобы хватило на всю зиму.

Наконец подошло время отставить в сторону склянки и ступки и отправляться в церковь к вечерне. Кадфаэль вышел поглядеть, что там поделывает его подручный. Мало кому нравится, когда за тобой наблюдают во время работы, в особенности если ты в ней новичок и стесняешься своей неловкости и неопытности. Кадфаэль был приятно поражен, увидев, как много успел сделать молодой человек, – тот уже вскопал немалую часть большого клина. Ряды получились прямые и ровные, у юноши определенно был хороший глазомер. Судя по жирной черноте перевернутых комьев, земля была вскопана глубоко. Кое-где Бенет насорил на дорожках и сейчас заметал на грядки рассыпанную землю, орудуя метлой, которую отыскал в будке. Бросив беглый взгляд на

валяющийся заступ, он вызывающе посмотрел на Кадфаэля.

– Я напоролся заступом на камень и затупил лезвие, – признался он, отбрасывая метлу, и, взяв в руки заступ, провел рукой по железному краю, набитому вокруг деревянной основы. – Но я отобью его молотком и приведу в порядок, перед тем как поставить на место. В будке лежит молоток, а у лотка для воды широкие каменные края. Вообще-то я собирался сделать засветло еще рядок-другой!

– Хватит, сынок! – с искренней теплотой сказал Кадфаэль. – Ты и так уж сделал гораздо больше, чем я ожидал. А что касается заступа, то лезвие на нем уже три раза заменяли на новое. Я и сам знаю, что пора менять его в четвертый раз. Коли ты считаешь, что оно послужит еще до конца осенних работ, то поправь его, если хочешь, но сейчас отложи заступ, умойся и приходи на вечернюю службу.

Бенет поднял глаза от зазубренного лезвия и, услышав в тоне Кадфаэля сдержанную похвалу, улыбнулся ему вдруг такой широкой и простодушной улыбкой, какой Кадфаэль, кажется, еще не встречал ни у одного человека. В глазах юноши заиграл переливчатый блеск, точно в прозрачном ручье, в котором плещется форель.

– Значит, я угодил вам работой? – произнес он чуть вызывающе, но с той неподдельной радостью, которую дает пьянящее ощущение молодых сил. Щеки юноши так и вспыхнули румянцем, и с безоглядной искренностью он сознался: – А я ведь, можно сказать, впервые взял в руки лопату!

– Вот уж никогда бы не подумал, – невозмутимо ответил Кадфаэль, изучая пристальным взглядом руки юноши, торчавшие из слишком коротких рукавов.

– Мне больше приходилось иметь дело... – торопливо начал оправдываться Бенет.

– ...с лошадьми, – закончил Кадфаэль. – Уж я знаю! Что же, если ты и завтра будешь так же стараться, а завтра, оно не за горами, то ты мне, пожалуй, подойдешь.

Когда Кадфаэль шел в церковь к вечерне, перед глазами у него стоял молодецкий облик нового работника, бодрой походкой направлявшегося к каменному лотку отбивать затупившийся заступ. Чуткое ухо Кадфаэля еще

долго слышало песенку отнюдь не церковного строя, которую, удаляясь, насвистывал Бенет, притоптывая в такт мелодии деревянными чоботами, надетыми поверх потертых башмаков.

– Сегодня отец Эйлнот вступил в должность, – сообщил Кадфаэль Бенету на другой день. – Почему ты не захотел присутствовать?

– Я-то? – с искренним удивлением переспросил склоненный над грядкой Бенет, разгибая спину. – А что мне там делать? У меня тут работа, а он со своими делами и без моей помощи справится. Я же его почти не знал, перед тем как отправиться с ним в поездку. Ну и как, у него все в порядке?

– Да. Все прошло хорошо. Разве что проповедь была слишком уж сурова для бедных грешников, – с некоторым сомнением задумчиво промолвил Кадфаэль. – Разумеется, ему хотелось с самого начала показать свое рвение. После-то можно немного ослабить поводья, когда священник и прихожане получше познакомятся и поймут, чего им ждать друг от друга. Чужому человеку, да к тому же еще молодому, должно быть, трудно заступить место старого, к которому все давно привыкли. Старый башмак удобно сидит на ноге, а новый-то всегда жмет. Но со временем новый разносится и тоже станет впору.

Похоже было, что Бенет очень быстро научился с полуслова понимать своего нового наставника. Глядя в лицо Кадфаэлю, он слушал его, сдвинув брови и склонив голову набок; лоб его наморщился, лицо приняло непривычно серьезное выражение, как будто перед ним неожиданно встал вопрос, о котором он, целиком поглощенный своими собственными мыслями, не давал себе труда задуматься.

– Тетушка Диота три года у него прослужила, – начал он как бы в раздумье, – и, кажется, никогда на него не жаловалась. Знакомство у меня с ним шапочное. Я благодарен ему за то, что он взял меня с собою. Он не тот человек, с которым бы я легко поладил, если бы стал ему служить, но в дороге я старался помалкивать, делал, что мне указывали, и он обходился со мной неплохо. – Тут жизнерадостная натура Бенета взяла свое: все его сомнения мгновенно улетучились, словно под порывом западного ветра. – Ведь он такой же новичок на этой работе, как я на своей. Он решил идти напролом, а у меня хватило здравого смысла втереться тихой сапой. Не надо ему мешать, он скоро освоится!

Отчасти Бенет был, конечно, прав. Новый человек на новом месте должен сперва приспособиться. Сначала все бывает не так, потом люди как-то притрутся, и все успокоится. Надо дать время человеку, чтобы он понял, чем дышат люди вокруг, а те в свой черед поняли, чем дышит он.

Но, и занявшись работой, Кадфаэль никак не мог отделаться от беспокойства, его мучили воспоминания о проповеди Эйлнота, напоминавшей, скорее, какой-то лихорадочный бред, из которого вставало видение Страшного суда, описанного с изрядным красноречием. В зачине проповеди звучали чистейшие, светлые ноты, в нем Эйлнот воспел недостижимое райское блаженство, а кончил жутким в своей наглядности описанием адских мук: «...геенна же огненная – это остров, омываемый четырьмя морями, и моря те словно драконы огнедышащие, стерегущие грешников. Первое – это горячее море горести, чьи волны жгучи, как каленое железо; они обжигают большее, чем огонь пламенного острова. Второе море – это море мятежа; оно вышвыривает беглеца, который тщится пересечь его вплавь или на лодке, обратно в полыхающее пламя. Третье море – это море отчаяния, в чьей пучине неминуемо тонет всякий корабль и всякий человек камнем идет ко дну. И последнее – это море раскаяния, в коем каждая капля – это слеза осужденного на вечные муки грешника; только через него возможно спасение, но лишь для очень немногих; единая слеза, однажды пролитая Господом нашим по грешникам, канувшим в огненной пучине, проникнув в ее глубину, остудит весь океан и успокоит его волны. Такова власть совершенного милосердия!»

«Скупое и страшное милосердие! – подумал Кадфаэль, смешивая грудной бальзам для таких несовершенных, старых и больных людей в монастырском лазарете, обремененных, как и все люди, грехами и слабостями человеческими, для людей, которым недолго осталось жить в этом мире. – Нет! Милосердием тут и не пахнет!»

Глава третья

Первая тучка на ясном небосклоне Форгейта показалась, когда Элгар, работник, который возделывал поле священника и содержал общинных быка и хряка, пришел с жалобой к форгейтскому провосту, колеснику Эрвальду. Элгар не возмутился против обидчика, он был, скорее, напуган тем, что новый его хозяин

высказал сомнение насчет того, кем следует считать Элгара – вольным человеком или вилланом. Дело в том, что перед самой смертью отца Адама между ним и Элгаром возникли разногласия относительно полоски земли в отдаленных полях, и спор этот между священником и слугой так и остался нерешенным. Если бы отец Адам был жив, они пришли бы к полюбовному соглашению, так как алчность не была свойственна старому священнику, а притязания Элгара имели под собой известное основание, поскольку он утверждал, что эта полоска перешла к нему по наследству от матери. Но строгий отец Эйлнот непримиримо потребовал, чтобы спор был решен в суде, заметив при этом, что у Элгара нет никакой надежды выиграть тяжбу, ибо он не вольный человек, а виллан.

– Что же он такое говорит, когда все знают, что я на самом деле всю жизнь был вольным?! – волновался Элгар. – А он толкует, что среди моей родни есть вилланы, и раз мой дядька и двоюродный брат ведут хозяйство на земле замка Уортин и арендную плату отрабатывают в поле, то это будто бы доказывает, что они оба – вилланы! Так-то оно так, младший брат моего отца, как человек безземельный, с радостью согласился взять в аренду участок, когда появилась такая возможность, и согласился за него отрабатывать, но все равно – родился-то он свободным, как и вся наша родня! И я вовсе не собираюсь отхватить у священника ту полоску, коли она церковная. Мне чужого не надо. А ну как он и впрямь подаст на меня в суд и станет доказывать, что я не свободный человек, а виллан?

– Небось не станет! – успокоил его Эрвальд. – Потому что этого никто не докажет. Да и с какой стати он будет тебя обижать? Вот увидишь, он просто буквоед и законник и больше ничего! Да за тебя любой человек из нашего прихода пойдет в свидетели! Я так ему и скажу, и он успокоится.

В тот же день весть об этом случае разнеслась по всему приходу.

Второй тучкой, омрачившей ясный горизонт, был мальчишка с разбитой головой. Рыдая и хлюпая носом, он поведал, что играл с ребятами в мяч возле дома священника, где есть гладкая стена, об которую они бросали мяч и, конечно, подняли шум. Дети и раньше там, бывало, играли, и отец Адам разве что тряс в шутку кулаком, а сам только улыбался. Когда же шум надоедал ему, священник цыкал на детей, и те бросались врассыпную.

Однако на этот раз дверь открылась и из нее выскочил здоровенный верзила в черном, он ужасно ругался и размахивал длинной палкой. Дети перепугались и дунули прочь со всех ног, но не тут-то было. Двое или трое отделались синяками, а одному неудачнику так досталось, что он упал, оглушенный, с пробитой головой. Крови было – страшно смотреть, что и неудивительно, когда ранена голова.

– Я, конечно, понимаю, что от этих пострелят осатанеть можно, – сказал Эрвальд Кадфаэлю, после того как мальчика успокоили, перевязали и возмущенная мамаша увела за руку свое чадо. – Мне, да и тебе, я думаю, тоже случалось раздавать тумачи и затрещины, но ведь не палкой же вроде его тяжелого посоха!

– Может, он нечаянно ударил, не желая того? – предположил Кадфаэль. – Но не думаю, что он столь же добродушно будет терпеть проделки этих негодников, как ваш покойный отец Адам. Мальчишкам лучше не попадаться ему под руку, а при встрече вести себя как следует.

Вскоре стало ясно, что мальчишки это и сами поняли, потому что перестали заводить шумные игры возле маленького домика в конце переулка, а когда на главной улице Форгейта показывалась высокая фигура священника, идущего стремительной походкой, от которой полы развевающегося плаща вздымались у него за спиной, точно два черных крыла, ребятишек как ветром сдувало у него с дороги и даже ни в чем не провинившиеся предпочитали держаться на безопасном расстоянии.

Отца Эйлнота никак нельзя было упрекнуть в небрежном отношении к своим обязанностям. Он строго соблюдал часы молитвы, и ничто не могло его отвлечь от выполнения предписанного – проповеди его были суровы, он набожно служил, навещал болящих и склонял к покаянию согрешивших прихожан. Утешая страждущих, он бывал суров до безжалостности, за грехи налагал такую жесткую епитимью, к какой не привыкла его паства. Столь же ревностно он следил за выполнением хозяйственных дел – за сбором десятины и возделыванием церковной пашни. Как-то дошло до того, что один из соседей пожаловался, что священник распахал половину его поля, лежавшую под паром, на что Элгар заявил: мол, так велел ему хозяин, потому что это большой грех оставлять пашню в запустении.

Отец Адам в свое время учил нескольких мальчиков начаткам грамоты, и его преемник стал продолжать эти занятия, но дети с каждым разом все неохотнее шли к нему на урок и жаловались дома, что учитель то и дело бьет их за малейшую ошибку, не говоря уже о серьезной провинности.

– В этом виноват отец Адам! – надменно сказал брат Жером. – Обыкновенное справедливое наказание они воспринимают как насилие над собой. Что сказано в правилах по этому поводу? Мальчики и отроки, кои не могут уразуметь, сколь страшно отлучение от Церкви, должны быть наказуемы за свои проступки постом или розгою ради их собственного блага. И, поступая так, священник совершенно прав.

– Я не согласен, что ошибку в чтении можно считать проступком, – живо возразил брат Павел, горячо вступаясь за мальчиков, которые были не старше его воспитанников из монастырской школы. – Проступком можно считать то, что делается сознательно и по злой воле, а тут дети отвечали как умели, желая все сделать правильно.

– Проступок заключается в небрежении и невнимании, из-за которых дети не знали заданного урока, – важно надув щеки, отвечал брат Жером. – Ученик должен слушать со вниманием, тогда он будет отвечать без ошибок.

– Куда уж там! Они же у него совсем запуганы, – досадливо бросил ему брат Павел и, сожалея о собственной горячности, поспешно удалился, не желая больше спорить.

Брату Павлу казалось, что Жером так и подставляет ему под руку свою елейную физиономию, напрашиваясь на оплеуху, но Павел, который, подобно многим сильным и крупным мужчинам, бывал поразительно ласков и кроток со слабыми и беззащитными, каковыми были его младшие воспитанники, слишком хорошо сознавал, как могут его кулаки отделать противника, даже не уступающего ему в силе. Что останется от такого сморчка, как Жером, даже подумать страшно!

Прошло больше недели, прежде чем неприятные новости дошли до слуха аббата Радульфуса. Все началось с пустяковой, в сущности, жалобы, а именно с того, что отца Эйлноута угораздило прилюдно обвинить форгейтского пекаря Джордана Эчарда в том, что тот выпекает буханки с недовесом, и тут Джордан,

уязвленный в своей гордости мастера, решил во что бы то ни стало добиться справедливости.

– Ну и везучий же парень наш Джордан! – весело высказался провост Эрвальд. – Надо же так, чтобы против него выдвинули такое обвинение, в которое никто не поверит, и любой под присягой подтвердит, что оно ложно! Джордан всегда выпекал полновесные буханки, не знаю, как у него насчет остального, а в этом он всегда был честен. Вот если бы ему приписали какого-нибудь внебрачного ребенка из тех, что родились в этом году, тут бы он, пожалуй, язык прикусил. Но хлебопек он честнейший и никогда никого не обвешивал! Как священника угораздило эдак осрамиться, для меня загадка. А Джордан теперь рвет и мечет, язык у него хорошо подвешен, так что он еще и за других, не таких смелых, пожалуй, вступится.

Вот так случилось, что форгейтский провост вместе с пекарем Джорданом и еще парочкой почтенных жителей предместья явился восемнадцатого декабря на собрание капитула просить аудиенции у аббата Радульфуса.

– Я просил вас уединиться со мной для беседы, чтобы не мешать братьям монахам в обсуждении насущных дел, – начал Радульфус, когда за ними закрылась дверь приемной в аббатских покоях. – Я понял, что вам нужно многое со мной обсудить, и хочу поговорить откровенно. Времени у нас достаточно. Слушаю тебя, мастер провост! Я, как и вы, желаю процветания и благополучия жителям Форгейта.

Обращаясь к мастеру Эрвальду, аббат намеренно употребил в речи его неофициальный титул, как бы приглашая того к доверительному разговору. Эрвальд именно так это и понял.

– Отец аббат, – начал Эрвальд озабоченным тоном, – мы пришли к вам, потому что не очень довольны отношением к нам нового священника. На отце Эйлноте лежат церковные обязанности, их он исполняет достойно, и в этом мы на него не жалуемся. Но вот когда сталкиваемся с ним в обычной жизни, нам не нравится его обращение. Он усомнился, свободный ли человек его работник Элгар или виллан, а нас даже не спросил. Уж мы-то хорошо знаем, что он свободный! Потом он заставил Элгара вспахать пар на участке своего соседа Эдвина, не сказав тому ни слова и не спросив разрешения. Он обвинил мастера Джордана,

что тот якобы обвешивает народ, а мы все знаем, что это напраслина. Джордан славится тем, что печет хлеб вкусно и без обвеса.

– Это истинная правда, – с жаром вступил Джордан. – Я арендую пекарню у аббатства, работаю на вашей земле, вы знаете меня уже много лет и знаете, что для меня хорошая выпечка – дело чести!

– Ты совершенно прав, – согласился Радульфус. – Твой хлеб хорош. Продолжай, мастер провост, у тебя ведь есть еще что сказать!

– Да, милорд, как не быть! – согласился Эрвальд, еще больше посерьезнев. – Вы, наверное, уже слышали, как сурово отец Эйлнот обращается с учениками в школе. И так же жестоко он расправляется с ребятней из нашего прихода. Где бы ни встретил стайку мальчишек, он так и следит за ними: не дай Бог, если кто-нибудь не так ступил! А вы ведь знаете: дети не могут без шалостей. Он распускает руки где надо и не надо. Дети боятся его. Это не дело, хотя не всякий, конечно, умеет терпеливо относиться к детям. Но и женщины тоже боятся. В своих проповедях он так расписывает адские мучения, что совсем их застрашал.

– Чего же им тут бояться? – возразил аббат. – Бояться надо только тем, у кого совесть нечиста и кто знает за собой грехи. Но я не думаю, чтобы среди его прихожанок нашлись такие уж великие грешницы.

– Нет, милорд! Женщины очень чувствительны и пугливы. Они начинают копаться в себе в поисках грехов, которые совершили невольно. Они совсем запутались и уже сами не знают, где грех, а где не грех, и теперь едва смеют дохнуть, чтобы не подумать: «А вдруг я делаю что-то плохое?» Но и это еще не все!

– Я вас слушаю, – сказал аббат.

– Милорд, есть у нас в приходе один добрый человек, он очень бедный. Зовут его Сентвин. Его жена на днях родила. Младенец уродился совсем хиленький, и родители поняли: не жилец он! Чтобы спасти его душу, Сентвин кинулся скорей к священнику и умолял прийти и окрестить ребенка, пока тот не умер. А отец Эйлнот велел ответить Сентвину, что он сейчас молится и не придет, покуда не закончит. Как ни упрашивал его Сентвин, тот не согласился прервать свои

молитвы. А когда он наконец пришел, было уже поздно – младенец скончался.

В первое мгновение все оцепенели в немом молчании, словно мрачная туча вползла в светлую комнату, обшитую деревянными панелями.

– Слушайте дальше, святой отец! Он отказал младенцу в христианском погребении, потому как тот, дескать, некрещеный. Он сказал, что ребенка нельзя хоронить в освященной земле. Пообещал только прочесть над его гробиком кое-какие молитвы. Так его и закопали за оградой кладбища. Я могу показать вам могилку.

С натугой, точно ворочая тяжелые камни, аббат Радульфус выговорил:

– Он был вправе так поступить.

– Вправе? А ребенок? Где же его права? Он умер бы как христианин, если бы священник пришел по первому зову.

– Он был вправе так поступить, – неумолимо, но с чувством глубокого отвращения повторил Радульфус. – Час молитвы – это святое.

– Но и новорожденное дитя тоже! – возразил Эрвальд в приливе риторического вдохновения.

– Хорошие слова. И да услышит Господь нас обоих! Бывают особые обстоятельства, когда отступление от правил прощается. Если вам есть еще что сказать, рассказывайте все до конца.

– Милорд, жила у нас в приходе одна девушка по имени Элюнед. Редкая красавица! Она была не такая, как все, шалая какая-то. Все ее знали. Видит Бог, никому не делала зла, кроме себя самой. Такая уж она уродилась несчастная! Понимаете, милорд, она не умела сказать «нет» мужчине. Все-то она гуляла – то с одним, то с другим, а потом приходила в слезах каяться. Обещала исправиться, но как была шалой, так и осталась. И ведь сама верила в то, что обещала! Но сдержать слово была не в силах. Стоило какому-нибудь парню посмотреть на нее и повздыхать, как все бывало забыто. Отец Адам никогда не прогонял ее, он ее исповедовал, налагал епитимью, а потом отпускал грехи. Он понимал, что она

над собою не властна. Уж больно она была жалостлива ко всем: к мужчинам, к детям, к животным, жалела всех без разбору!

Аббат молча слушал рассказ, уже догадываясь, чем он кончится.

– Месяц назад она родила ребенка. Оправившись после родов, она, сгорая от стыда, пошла, как всегда, на исповедь. А Эйлнот не пожелал ее слушать! Он сказал, что она много раз давала обещания исправиться и все их нарушила. Так-то оно так! И все же... Он не назначил ей никакого покаяния, потому что, как он сказал, не верил ее словам, да так и не дал ей отпущения. Тогда она смиренно пришла в церковь слушать мессу, а он ее выгнал за порог и захлопнул за ней дверь. И все это громко, на людях, так что все слышали и видели!

После рассказа наступило глубокое молчание. Наконец аббат, пересилив себя, спросил:

– Что с ней стало?

Он уже понял, что ее больше нет, что бедная тень отверженной изгнанницы покинула бренный мир.

– Она утонула в мельничном пруде, милорд. Ей повезло, что течение вынесло ее в ручей, а там ее вытащили из воды горожане. Они не знали, кто она такая, отнесли в свою церковь, и священник прихода Святого Чеда ее похоронил. Никто не знал, почему она утонула, и там решили, что это несчастный случай. На самом деле все, конечно, сообразили, что несчастный случай тут ни при чем.

Это можно было ясно понять по выражению глаз и голосу рассказчика. Отчаяние – смертный грех! Но что же тогда берет на душу тот, кто ввергает в отчаяние своего ближнего?

– Предоставьте мне разобраться со всеми этими делами, – сказал аббат Радульфус. – Я сам поговорю с отцом Эйлнотом.

На строгом продолговатом лице священника, пришедшего в приемную аббата после мессы и стоявшего сейчас перед ним по другую сторону стола, не заметно

было ни виноватого выражения, ни тревоги или смущения.

– Отец аббат, если ты позволишь мне говорить откровенно, то я скажу, что в этом приходе забота о душах прихожан была безнадежно запущена, что оказалось весьма губительно. Сей вертоград зарос плевелами, они душат всякое доброе семя. Мой долг – сделать все возможное, дабы взрастить добрый урожай. Я приложу к этому все старания, иначе я поступить не могу и не имею права. Жалея отрока, не воспитаешь честного мужа. Что касается Эдвина, то мне объяснили, что я сдвинул с места межевой камень. Это было моей ошибкой, и она уже исправлена. Я никогда не возьму ни пяди чужой земли.

То, что он сказал, было истинной правдой: ни пяди чужой земли, ни гроша чужих денег! Но и своего никому не отдаст и не уступит ни пяди и ни гроша! Все точно отмерено мерою правосудия, и грань между правдой и неправдой остра, как лезвие бритвы.

– Меня не столько волнует ссора из-за парового клина, – сухо ответил аббат, – сколько вещи, которые затрагивают самое главное для человека. Твой работник Элгар – человек свободный от рождения, равно как и его дядя и двоюродный брат. И если они предпримут кое-какие шаги для подтверждения своих прав, то получают его раз и навсегда, чтобы никому не вздумалось больше подвергать это сомнению. Они согласились расплачиваться за свой кусок земли отработкой, и это так же не влечет за собой утраты личной свободы, как если бы они расплачивались деньгами.

– Мне так и объяснили, когда я вник в дело, – невозмутимо согласился Эйлнот. – И я это уже сообщил ему.

– Замечательно! Но лучше было бы сперва вникнуть, а затем предъявлять обвинение.

– Милорд, если любишь справедливость, надо ее требовать! Человек я здесь новый. Я прослышал про землю его родственников. Мне сказали, что плату за нее он отработывает как виллан. Мой долг был выяснить правду, и я поступил честно, обратившись к самому Элгару.

Он и тут был прав, хотя его правда не знала милосердия. И более того, он выказал такое же железное правдолюбие, когда ему пришлось признать свою

собственную неправоту. Едва она была доказана, он тотчас же сознался, что был не прав! Как с ним быть? Что делать с таким человеком в мире самых обыкновенных, далеко не безупречных людей? Радульфус перешел к более серьезным вещам.

– А как насчет ребенка, родившегося у Сентвина и его жены и едва прожившего один час?.. Отец явился к тебе, торопил прийти поскорее, потому что младенец был очень слаб и мог вот-вот умереть. Ты не пошел крестить ребенка в христианскую веру и затем, насколько мне известно, опоздав с крещением, отказался похоронить младенца в освященной земле. Почему же ты не пошел к нему сразу со всей возможной поспешностью, когда тебя позвали?

– Потому что я, согласно данным обетам, как раз стал на молитву, милорд. Я никогда еще не прерывал своих молитвенных трудов и никогда этого не сделаю ни по какому поводу, хотя бы это грозило мне смертью! Не окончив всех молитв, я не мог никуда уйти. А закончив, я тотчас же туда пошел. Я не мог знать, что ребенок так скоро умрет. Но если бы и знал, я не прервал бы обязательное для меня молитвенное служение.

– Служение налагает на тебя не одну только эту обязанность, – довольно резко заметил ему Радульфус. – Иногда приходится делать выбор между двумя разными обязанностями, для тебя же, как мне кажется, главная – это забота о душах, вверенных твоему попечению. Ты избрал для себя собственное совершенство и набожно молился, а ребенка обрек на могилу за кладбищенской оградой. Правильно ли ты поступил?

– Милорд! – ответил Эйлнот, глядя на аббата горящими глазами, в черной глубине которых пылал огонь непоколебимой убежденности. – На мой взгляд, правильно! Я ни на йоту не отступлю от требований святого богослужения. Перед ним должны склониться все души – и моя и другие.

– И даже душа невинного, только что родившегося и самого беззащитного из Божьих созданий?

– Милорд, вы прекрасно знаете, что согласно букве священного закона некрещеных не позволено хоронить в церковной ограде. Я блюду закон, данный нам свыше. Иначе я не могу поступить. А если Господу милосердному будет угодно, он найдет этого младенца, где бы тот ни лежал – в освященной земле

или в неосвященной.

При всем бессердечии ответ был в своем роде хорош. Аббат задумался, глядя на каменное, самоуверенное лицо собеседника.

– Буква закона значит немало, в этом я с тобой согласен. Но дух закона все же выше. И ты мог бы рискнуть спасением своей души ради новорожденного младенца! Прерванную молитву можно потом докончить, и это не сочтется за грех, если на то была достаточно важная причина. Кроме того, напомним об Элюнед. Эта девушка погибла после того – заметь, что я говорю именно «после того, как», а не «из-за того, что»! – она погибла после того, как ты прогнал ее из церкви. Отказ в исповеди и покаянии дело очень серьезное, даже если речь идет о великом грешнике!

– Отец аббат! – воскликнул Эйлнот, который до сих пор, в сознании своей праведности хранил невозмутимое спокойствие. На этот раз он не выдержал и вспылал: – Там, где нет душевного раскаяния, не может быть речи о покаянии и отпущении грехов! Эта женщина много раз клялась на словах и обещала исправиться, но так и не сдержала слова. Я слышал от людей, какая у нее слава, она неисправима! Я не мог по совести исповедовать ее, потому что не мог поверить ее обещаниям. Тому, кто неискренне кается, исповедь не зачтется. Было бы смертным грехом отпустить ей грехи. Неисправимая блудница! Жива она или умерла, не имеет значения. Я ни о чем не жалею! И если бы снова пришлось, поступил бы точно так же. Я дал святые обеты и не могу кривить душой.

– И, не кривя душой, тебе придется держать ответ за две погибшие жизни, – торжественно произнес Радульфус. – Возможно, Господь посмотрит на это дело иначе, чем ты. Соблаговоли вспомнить, отец Эйлнот, что призван наставлять к раскаянию не праведников, а грешников, людей немощных и оступающих, которые живут в страхе и пребывают в невежестве, не обладая твоей несравненной чистотой. Умерь свои требования в соответствии с их возможностями и не будь столь суров к тем, кому далеко до твоего совершенства! – Тут аббат Радульфус умолк, ибо увидел, что его язвительная ирония пропала даром: гордое, непроницаемое лицо священника даже не дрогнуло. – И не раздавай столь поспешно колотушки детям, – прибавил аббат. – Это допустимо только в случае злонамеренной шалости. Ошибаться же свойственно всем, даже тебе.

– Я стараюсь поступать правильно, – промолвил Эйлнот. – Старался раньше и буду стараться впредь.

С этими словами он вышел тем же уверенным, стремительным и твердым шагом, и полы его одеяния взвились у него по бокам, словно широкие крылья.

– Это человек воздержанный, несгибаемой прямооты и сурового целомудрия, честность его непоколебима – так высказался аббат Радульфус наедине с приором Робертом. – Человек, наделенный всеми добродетелями, кроме смирения и человеческой жалости. Вот что по моей милости свалилось на Форгейт! Что же нам с ним теперь делать?

В двадцать второй день декабря почтенная Диота Хэммет появилась у ворот аббатства с закрытой корзинкой в руке и вежливо спросила, нельзя ли ей повидать своего племянника Бенета, чтобы передать ему рождественский сладкий пирог да немного медовых булочек, испеченных к празднику. Привратник узнал домоправительницу священника и показал ей, как пройти в сад, где в это время находился Бенет. Тот заканчивал подстригать разросшуюся за лето живую изгородь.

Заслышав голоса в саду, Кадфаэль выглянул за дверь и, сразу догадавшись, кто эта пожилая женщина, хотел было снова вернуться к своей ступке, как вдруг его что-то насторожило. В тоне, которым приветствовали друг друга Диота и Бенет ему почудился какой-то неожиданный оттенок. Монах не удивился, что они обрадовались друг другу, – сдержанное родственное чувство между теткой и племянником вполне объяснимо, и то, что увидел Кадфаэль, было просто теплой встречей близких людей. Но в том, как держалась женщина, монах уловил какую-то скрытую нежность, смешанную со странной почтительностью, а юноша, к его удивлению, обнял гостью с порывистой, ребяческой лаской. Конечно, Кадфаэль уже понял, что этот парень ни в чем не знает середины, и все-таки тут было что-то особенное: тетушку и племянника связывало что-то большее, нежели спокойная родственная приязнь.

Кадфаэль вернулся к своей работе, оставив Диоту и Бенета наедине друг с другом. Вдова Хэммет оказалась чистоплотной, аккуратной женщиной с приятной наружностью, одета она была в скромное черное платье, приличествующее домоправительнице священника; седые, гладко причесанные

волосы были прикрыты черным платком. Овальное лицо женщины, обыкновенно немного печальное, озарилось радостью при виде юноши. В этот миг ей можно было дать лет сорок, не больше, да, быть может, столько ей и было на самом деле.

«Сестра его матери? – подумал Кадфаэль. – Если так, то он, как видно, уродился в отца, на тетку он совсем не похож. Ну да что там! Мое ли это дело?» – отмахнулся Кадфаэль от назойливых мыслей.

Тут к нему в сарайчик ввалился Бенет с корзинкой в руках и высыпал на стол лакомые дары Диоты.

– Нам повезло, брат Кадфаэль! Такой стряпухи, как Диота, даже на королевской кухне не сыщется! Так что мы сейчас угостимся на славу!

И он выскочил с пустой корзинкой так же проворно, как прибежал. Кадфаэль проводил его взглядом и увидел в раскрытую дверь, как Бенет вместе с корзинкой передал Диоте какую-то небольшую вещицу, которую вынул из-за пазухи. Диота приняла ее без улыбки и кивнула ему с серьезным выражением, а юноша нагнулся к ней и поцеловал в щеку. Женщина заулыбалась. Против Бенета и впрямь было трудно устоять! Она повернулась и пошла прочь, а он еще долго смотрел ей вслед, прежде чем вернуться в сарайчик к Кадфаэлю. Обаятельная улыбка мгновенно заиграла на его лице.

– Ни под каким видом, – назидательно стал Кадфаэль читать наизусть строку из устава, – монах не должен принимать даже маленьких подарков, будь то от родственников или от других лиц, не испросив перед тем позволения у аббата. Вот, сын мой, как гласит устав.

– Ну так, значит, тебе просто повезло и мне тоже, – весело возразил юноша. – Хорошо, что я не давал монашеского обета! А медовые булочки она печет так, что пальчики оближешь!

С этими словами Бенет вонзил белые зубы в одну булочку, а другую протянул Кадфаэлю.

– А также братья монахи не должны обмениваться подарками между собой, – продолжал Кадфаэль, принимая угощение. – Действительно повезло! Принимая

подарок, я нарушаю устав, но ты, как даритель, остаешься безгрешным. Стало быть, ты отказался от своего намерения удалиться в монастырь?

– Я?! – Бенет застыл от удивления с недожеванным куском во рту. – А разве я высказывал такое намерение?

– Не ты, друг мой, но твой покровитель за тебя его высказал, когда просил взять тебя к нам на работу.

– Так и сказал?

– Да. Он, конечно, не давал за тебя обещания, но все же намекал, что когда-нибудь ты можешь к этому склониться. Хотя должен признать, что не замечал у тебя никаких признаков такого желания.

Бенет подумал немного и затем, доев булочку и облизав сладкие пальцы, к которым пристали крошки, сказал:

– Видно, он хотел поскорее от меня отделаться и подумал, что так меня легче согласятся сюда принять. Не полюбилась ему моя физиономия. Наверное, потому, что я чуть что – улыбаюсь. Нет уж, даже ради тебя, Кадфаэль, я не согласен долго сидеть тут взаперти! Вот погоди, настанет срок, только меня и видели! Но покуда я здесь, – закончил он, расплываясь до ушей в своей жизнерадостной улыбке, которая постнику и впрямь должна была показаться слишком беззаботной, – буду работать не за страх, а за совесть.

Не успел Кадфаэль и глазом моргнуть, как Бенет уже снова был в саду подле живой изгороди и принялся орудовать садовыми ножницами, с которыми играючи управлялся одной рукой, а Кадфаэль, проводив его долгим, задумчивым взглядом, остался сидеть в сарайчике.

Глава четвертая

К вечеру того же дня почтенная Диота явилась в один дом неподалеку от церкви Святого Чеда и робко спросила, можно ли ей повидать лорда Ральфа Жиффара.

Слуга, отворивший дверь, смерил ее взглядом и остановился в нерешительности, так как никогда прежде не встречал эту женщину.

– А по какому ты делу, почтенная? Кто тебя прислал?

– Я должна передать ему письмо, – послушно объяснила Диота, протягивая небольшой свиток с печатью. – Мне велено подождать ответа, если милорд соблаговолит его написать.

Слуга еще сомневался, брать или не брать из ее рук письмо.

Это был небольшой кусок пергамента неправильной формы; такой вид он имел по очень простой причине: третьего дня брат Ансельм обрезал испорченные края пергамента, чтобы использовать его для нотной записи. Однако печать на письме намекала на важное содержание, несмотря на неказистый вид. Слуга все еще колебался, как вдруг у него за спиной в передней появилась молодая девушка и, заметив в дверях незнакомую, приличного вида женщину, остановилась и полюбопытствовала, зачем та пришла. Девушка решительно взяла у Диоты послание и сразу разглядела знакомую печать. Вздрогнув от неожиданности, она удивленно вскинула на Диоту большие голубые глаза и порывистым движением сунула ей письмо обратно:

– Входи и вручи его сама! Я провожу тебя к моему отчиму.

Хозяин дома сидел в небольшой комнате, отдыхая возле горящего очага. На столике перед ним стоял недопитый бокал с вином, на полу спала, свернувшись у его ног, борзая. Жиффар был нарядно одетый, краснощекий, бородатый мужчина с залысинами на лбу. На вид ему было лет пятьдесят, он казался крепок и мускулист, но уже начал полнеть, с тех пор как недавно стал вести сидячую жизнь. Одним словом, он выглядел так, как и должен выглядеть человек его положения – владелец нескольких маноров и этого городского дома, в котором он теперь расположился, намереваясь со всеми удобствами провести Рождество. Сначала он в недоумении взглянул на Диоту, но сразу все понял, увидев печать на пергаменте. Не задавая вопросов, он послал девушку за писарем и затем очень внимательно выслушал послание, которое тот прочел ему вслух приглушенным голосом, так как с первых слов понял его опасный смысл. Этот сухонький старичок смолоду служил у Жиффара и пользовался его полнейшим доверием. Закончив, он тревожно взглянул на хозяина:

– Милорд, только не давайте письменного ответа! Если уж хотите ответить, лучше передать все на словах, так будет гораздо безопаснее. От сказанного можно потом отказаться, а закреплять свои слова на письме было бы неразумно.

Ральф немного помолчал, в раздумье разглядывая неожиданную посланницу, которая смущенно стояла перед ним, терпеливо ожидая, когда он заговорит.

– Скажи ему, – вымолвил он наконец, – что я получил его послание и все понял.

Диота помялась в нерешительности, но, набравшись храбрости, все-таки спросила:

– И это все, милорд?

– Этого довольно. Чем меньше будет сказано, тем лучше для него и для меня.

Девушка, которая все это время незаметно стояла в углу и внимательно следила за происходящим, вышла вслед за Диотой в темную прихожую и, когда дверь за ними закрылась, шепотом спросила:

– Скажи, где его можно найти?

Озадаченное молчание Диоты и растерянность, проступившая на ее лице, подсказали девушке, что та боится ответить. Спеша развеять ее страхи, она зашептала горячо и быстро:

– Я не желаю ему зла, видит Бог! Мой отец был с ними заодно. Разве ты не заметила, как хорошо мне знакома эта печать? Можешь довериться мне, я никому ничего не скажу, даже отчиму, но я хочу знать, как мне найти его, где искать в случае необходимости.

– В аббатстве, – так же быстро и тихо ответила Диота, отбросив сомнения. – Он работает в саду под именем Бенета, помогает брату травнику.

– Ах, так это же брат Кадфаэль! Я знаю его, – сказала девушка с облегчением в голосе. – Он как-то вылечил меня от тяжелой лихорадки, когда мне было десять лет, а три года тому назад помогал моей матушке во время ее последней

болезни. Я знаю, где находится его сарайчик. А теперь уходи скорее!

Постояв на крыльце, пока Диота, перейдя через узенький дворик, не вышла на улицу, девушка затворила дверь, а сама вернулась к Жиффару. Он сидел в своей комнате хмурый и насупленный, погруженный в тревожные думы.

– Вы пойдете на эту встречу?

Жиффар все еще держал в руке прочитанное письмо. Один раз он было сделал такое движение, точно хотел кинуть его в огонь, но тут же отдернул руку, заботливо свернул пергамент в трубочку и спрятал у себя за пазухой. Девушка сочла это за добрый знак для писавшего и мысленно за него обрадовалась. Она не удивилась, что не получила прямого ответа на свой вопрос. Ведь речь шла о серьезном деле, над которым требовалось еще хорошенько поразмыслить, а кроме того, она давно привыкла к тому, что Ральф не обращает на нее внимания; он никогда не делился с нею своими мыслями, зато и к ней не приставал с советами. Равнодушно относясь к падчерице и не испытывая к ней отеческих чувств, Ральф был снисходительным отчимом.

– Смотри! Чтобы никому про это ни слова! – сказал он. – Какой мне прок идти на это свидание? А вот потерять можно все. Разве мало убытков понесла и твоя и моя семья из-за верности этому дому? А ну как его выследит кто-нибудь на пути к мельнице?

– Кому же надо за ним следить? Его никто не подозревает. Все знают его как Бенета, простого монастырского работника. Тут все обстоит надежно. В Сочельник вечером никто зря не выйдет из дому, а те, что вышли, будут уже в церкви. Какой тут риск? Время выбрано очень удачно. А ему нужна помощь.

– Это еще как посмотреть... – проговорил Ральф, в нерешительности похлопывая пальцами по пергаментному свитку, спрятанному за пазухой. – Впереди еще два дня, так что поживем – увидим.

Насвистывая веселую песенку, Бенет подметал с дорожки ветки, срезанные с буксовой изгороди, как вдруг услышал позади звук легких и быстрых шагов, под которыми поскрипывал влажный песок. Обернувшись, он увидел приближающуюся со стороны монастырского двора закутанную в плащ молодую

девушку, лицо которой было прикрыто капюшоном. В сумеречном свете сквозь поднимавшийся от земли теплый туман сероватым пятном проступали смутные очертания незнакомки. Она была весьма изящной, но шла решительным шагом, держась прямо и независимо. Лишь когда девушка поравнялась с Бенетом и он почтительно отступил в сторону, чтобы дать ей дорогу, он смог ясно разглядеть прикрытое капюшоном юное личико, свежее, как яблоневый цвет: округлые щечки, на которых играл нежный румянец, твердо очерченные пухлые губки, алые, словно розовый бутон, упрямый подбородок и широко расставленные глаза такой сияющей голубизны, словно весь свет уходящего дня сосредоточился в их глубине. Голубые, как колокольчики, они лучились таким теплым светом, что Бенет, едва взглянув, утонул в них, забыв обо всем на свете. Когда он отступил перед ней в сторону и склонил голову, как подобает слуге перед знатной дамой, она не прошла мимо, а остановилась и пристально посмотрела ему в лицо изучающим кошачьим взглядом. Ее личико и впрямь было похоже на кошачью мордочку, широкое сверху, с узким, коротким подбородком, она смотрела на Бенета снизу вверх с таким же дерзким и вызывающим выражением, с каким бесстрашно смотрит на окружающий мир котенок, еще не знающий, что такое опасность. С серьезным видом девушка неторопливо окинула его взором с головы до пят. Столь пристальный взгляд мог бы показаться довольно бесцеремонным, если бы за ним не ощущалось нечто серьезное. Однако что именно могло вызвать интерес к его особе у девушки из аристократической или, возможно, купеческой семьи, было выше разума Бенета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://telnovel.me/piters_ellis/ten-vorona

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)